

ПИСАТЕЛЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

«Шарь-пошарь...»

Юрий Коваль — писатель нужный, чрезвычайно необходимый. Скажу иначе: Коваль — писатель чрезвычайной необходимости. Так весомей звучит, необходимей, чрезвычайней.

Необходимый он даже не потому, что написал «Недопёска» — «одну из лучших книг на земле», как назвал её поэт Арсений Тарковский.

А потому, и это в первую очередь, что он знает все звериные языки Земли — кошачий, собачий, птичий, — включая языки экзотические, такие как пчелиный и черепаший.

Коваль вообще знал много чего. Например, способ, как не заблудиться в лесу. Оказывается всё просто. Надо снять с себя куртку, свитер, тельняшку. Вывернуть тельняшку наизнанку, потом надеть. В голове что-то перевернётся, и дорога к дому отыщется.

Лес в приведённом примере можно воспринимать как метафору. Например, если вы, читатель, захотите вдруг переквалифицироваться в писатели и однажды, сочиняя рассказ, обнаружите, что заблудились в словах, поступайте в точности так же: разденьтесь, выверните тельняшку — тут-то нужные слова и найдутся.

Книги Ковала (каждая!) такие же чудесные, как Жар-птица.

Повесть «Алый», с которой всё началось и простой человек Коваль превратился в писателя Ковала. После «Алого» — «Чистый Дор», «Приключение Васи Куролесова», «Листобой», «Недопёсок», «Пять похищенных монахов», «Кепка с карасями», «Самая лёгкая лодка в мире», «Полынnyе сказки», «Шамайка»... Плюс большой роман для взрослых с загадочным названием «Суер-Выер».

Ещё он пел, играл на гитаре, сочинял песни, стихи, рисовал, лепил,rezал по дереву, писал сценарии для фильмов и для мультфильмов, сам снимался в кино, воспитывал детей и животных, путешествовал, был охотником, рыбаком — каких дел он только не переделал за отпущеный ему в жизни срок.

Лично мне, когда я грущу, а такое со мной иногда бывает, достаточно открыть наугад любую книгу Юрия Ковала, на любой странице, и грусть проходит, начинается радость.

«Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету. Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло! Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, чёрный, вода в реке чёрная, и стрекозы над ней чёрные...»

«Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, запуршало, и оттуда выскоцил рыжий пёс. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было...»

«Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд ещё три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона... Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над лесом... Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечавшей над чёрными лесами звероферму „Мшага“... Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:

— ...Гайки не забудь затянуть...

Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет».

Я нарочно не говорю, откуда эти цитаты, потому что цитировать Ковала, проговаривать его строчки вслух — уж не знаю, как для других, а для меня это чистое удовольствие.

Искусство

«Мы в Москву ездим за вологодским маслом. Там есть магазин на Преображенке. Я пачку масла ем два месяца. А Троцкого убили кирпичом».

Такую речевую цитату приводит Коваль в своих «Монохрониках». Автор фразы наукой не установлен, так что можно сказать — народ.

Вы спросите, а при чём тут искусство?

А при чём в приведённой цитате Троцкий?

На самом деле всё в мире взаимосвязано. И Троцкий, и вологодское масло, и даже пятна на Солнце, про которые все мы знаем, но которых никто не видел. Всё это кубики и детальки, тот знаменитый сор, из которого и делается искусство.

Так, Юрий Иосифович? Я правильно говорю?

Гитара

Уверен, что гитара для Коваля была другом не менее дорогим, чем пишущая машинка, стамеска для резьбы по дереву или рисовальная кисть. Она, гитара, как волшебная палочка, с которой можно если не переделать, то хотя бы украсить жизнь, наполнить её музыкой и стихами, вплетёнными в переборы струн.

Коваль не прославился в ремесле гитариста-песенника, как Высоцкий, Визбор и Галич. Даже известности Юлия Кима, товарища своего и совузника, в этом деле не приобрёл. Коваль и не соревновался с ними. Пел, как пелось, под настроение. Грустно, когда грустил (помните его пронзительно-тревожный романс в фильме «Марка страны Гондегупы»: «Темнеет за окном, ты зажигаешь свечи...»?). Весело, когда веселился. Песня, гитара были частью жизни его, частью творчества, важной частью, не будь которой, не было бы, мне думается, того писателя Коваля, которого мы все знаем, а значит, не было бы и нас с вами, его читателей, раз не было бы писателя Коваля.

И строчка, пропетая Ковалём:

В начале я только прозаик,
И только в конце гитарист, —

николько не отменяет мысли, которой я поделился выше.

Охота

Есть любительская видеозапись: идёт молодой Коваль по лесу, светлая куртка, кепка на голове, за плечом ружьё, во рту папироза... Весенний это сезон охоты или осенний — не знаю, я не охотник, но судя по природе, осенний. Пушкин из меня никакой, но что-то во мне вдруг щёлкнуло, и получилось это:

Осень, влажная натура,
небо серое, жнивьё,
Вологодчина плюс Юра,
папироза плюс ружьё.
Сапоги, скрипит резина:
«Топь болотная, уди!»
Там волнушка, здесь осина,
лес мохнатый впереди...

На лесе и осине я понял, что надо остановиться, потому что Коваль про осину уже написал, и про себя охотника уже написал, и про ружьё

написал, и даже про бутерброд с лососиной, который он жевал под осиной, написал тоже:

Под старой осиной,
Корявой осиной
Охотник жевал
Бутерброд с лососиной.

И вдруг из сосёнок,
Зелёных сосёнок,
На просеку вышел
Весёлый лосёнок.

И солнце светило,
Синица свистела,
Ружьё на сучке
Преспокойно висело.

Охотник жевал бутерброд,
Улыбался,
Смотрел на лосёнка,
На лес любовался.

Наверно, приятно
Сидеть под осиной,
Сидеть и жевать
Бутерброд с лососиной.

Я и остановился.

P. S. Коваль вообще много чего описал в стихах, ведь стихами человек разговаривает, когда влюблён — в дерево, в человека, в солнышко на закате и на заре, во всякую тварь божию на земле и в небе — от ангелов до последнего паучка, дремлющего на лесной паутинке, — в жизнь, одним словом.

Маленький Пушкин

«Плоха та детская книга, которая интересна одним лишь детям». Это сказал не я, это сказал английский писатель Клайв С. Льюис, открывший знаменитую Нарнию, страну, не обозначенную на карте, но существующую реально в пространстве сказки, как существуют в нём Швамбрания и Гель-Гью, Страна чудес и свифтовская Лапута, Цветочный город, что на Огурцовой реке, и провалившаяся в океан Атлантида.

Слова Льюиса перевёл Коваль, и у него получилось вот что: «Писать для детей надо так, будто пишешь для маленького Пушкина».

Лично я развел бы мысль моего уважаемого учителя: «Писать надо с видом на то, что тебя, возможно, будет читать Пушкин». То есть нужно трижды три раза перечитать написанное, прежде чем отдать роман-повесть-рассказ-поэму-стихотворение на читательский суд. Ибо читатель — существо вредное. Найдёт он в книге, скажем, этакое скопище слов: «Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии её отпуска в море значительный откуп, не использованный вначале стариком, имеет важное значение. Не менее важна реакция старухи на сообщение ей старика о неиспользовании им откупа рыбки, употребление старухой ряда вульгаризмов, направленных в адрес старика и понудивших его к повторной встрече с рыбкой, посвящённой вопросу о старом корыте» — и всё, и пиши пропало.

Под лежащее сказуемое вода не течёт. Слово не должно лежать в художественном тексте (слава богу, вышеприведённый образец не художественный) колодой, слово должно играть, подпрыгивать, веселиться, вставать с ног на голову, не давать читателю заскучать. Чтобы под ним, словом, бежала речка с живой водой. Для чего иначе литература? Для эпитафий?

Чувство смешного

Были раньше такие люди — милиционеры.

В народе они считались образцом тупости. Анекдоты о них ходили — вот, например. Сколько нужно милиционеров, чтобы ввернуть лампочку? Правильный ответ: шесть. Один милиционер стоит на табуретке и держит в патроне лампочку, четверо крутят его вместе с табуреткой по часовой стрелке, ещё один, с рацией, стоит рядом, чтобы в случае чего вызвать подмогу.

Потом милиционеры исчезли, место их заняли полицейские, про этих анекдотов уже не рассказывали.

Моё мнение насчёт *пресловутой* (очень мне нравится это слово, потому и курсив) милиционерской тупости с народным мнением расходится: не потому милиционеры шуток не понимали, что все тупые. Им по должности своей не положено *было быть* (такое сочетание мне тоже нравится, потому, опять же, курсив) на равных с потенциальным правонарушителем. Ведь каждый из нас в глазах милиционера потенциальный правонарушитель. Поставьте себя на место стража правопорядка. Стоит только тебе, стражу, улыбнуться или ответить на шутку шуткой, как ты, страж, автоматически уравниваешься с человеком, вызвавшим в тебе, страже, чувство смешного, а человек этот, возможно, преступник. Это как в бане: все голые, погоны и ордена сданы под номерок гардеробщику, и кто есть кто — непонятно. Юмор сближает лю-

дей, уравнивает их, вызывает сочувствие, а сочувствие и правопорядок две вещи несовместные. Не правда ль, Моцарт?

Вася Куролесов, мой любимый Ковалинин герой, тоже, кстати, милиционер. И капитан Болдырев, улавливающий запах укропа в любых немыслимых до непредсказуемости обстоятельствах. И Иосиф Яковлевич Коваль, начальник уголовного розыска города Курска, отец писателя. Но я сейчас не о них, я — о чувстве смешного.

Мой критерий при чтении: если на первых восьми-одиннадцати страницах я ни разу не улыбнулся, для меня это тревожный сигнал. Стоит ли читать дальше? Я люблю весёлые книги. Не в смысле «сатира-юмор», где автор смешит намеренно, чтобы выдоить из читателя смех, не только где всё весёлое — герои, ситуации, разговоры, — хотя такое тоже люблю. Но где весёлая сама проза, где слова играют друг с другом, подмигивают тебе со страницы: давай, включайся в игру, посыграй, коли ты не совсем зануда.

Вот, скажем, неулыбчивый Юрий Казаков пишет о северных рабочих-пьяницах. Серьёзно пишет, но читаешь его, и делается весело, даже самому с ними выпить охота. А например, писатель Сигизмунд Кржижановский, открытый для читателя в перестройку, меня лично в тоску вгоняет, несмотря на всё своё мастерство.

Коваль — писатель из богоданных, тех, кому Бог дал всё и, главное, волшебную авторучку (помнит кто-нибудь такой бытовой предмет?) — только кончик её прикоснётся к листу бумаги, как на бумаге образуется что-то вроде:

«— Не надо его на ферму, мам, — сказала Вера. — Пускай он у нас поживёт. Будет как собачка. Давай мы его пригреем.

— Куда я, Клав, теперь поеду, — поддержал Веру плотник. — Разве я проеду по такому снегу? К тому же задняя ось, похоже, треснула.

— У тебя я знаю, где треснуло, — сказала мамаша Меринова, недовольно поглядевши плотнику в глаза. — Ты скажи-ка лучше, что это ты у магазина делал?

Плотник Меринов смешался, закашлялся, вытащил из-под крыльца какую-то верёвку и пошёл за калитку, сказавши загадочно:

— Схожу за жердями».

Или такое:

«Будто лавина, обрушились разведчики на врага. Хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами, вытягивая в страхе белые маскировочные шеи и даже маскировочно гогоча, враги рассыпались по огородам и замаскировались.

Неожиданно послышалось ворчание танка. Лязгая гусеницами, из-за ближайшего блиндажа вываливался тяжёлый бронированный механизм.

— Погибать — так с музыкой! — крикнул лейтенант Серпокрылов, держа в руке противотракторную гранату.

Раздался чудовищный взрыв — механизм выпустил облако дыма и отправился умирать в сторону силосной ямы».

Как вам? По мне, так здорово.

И ещё прошу обратить внимание, что всё у писателя Коваля живое — и деревья, и облака, и знаменитая ковылкинская дорога, хватающая «газики» за колёса и старающаяся их оторвать, да что дорога — простая мотоциклетная перчатка и та у него живая, «прожила яркую жизнь и, если бы пришлось начать сначала, снова пошла бы тем же путём», вот так.

Да, чуть не забыл сказать: в любом рассказе, в любой сказке Юрия Коваля (про большие вещи даже не говорю) всегда найдётся маленькая деталька, которая поднимает прозу на какой-то волшебный уровень.

Вот в рассказе «Нюрка» из сборника «Чистый Дор» рассматривает автор в бинокль двор дяди Зуя, видит, как Нюрка бегает, рвёт на огороде укроп, как дядя Зуй самовар ставит. И далее вдруг:

«— Нюрка, — кричит дядя Зуй, — хрена-то накопала?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно».

Такие вот волшебные неожиданности, весёлые отступления в сторону — хрень этот, который вроде бы ни к селу ни к городу, необязательная фраза рассказчика, что он слышит дядю Зуя не через бинокль, — и обращают ту подъёмную силу, что даёт рассказу лёгкость и глубину.

Таких, как Коваль, немного, почему-то добрый Господь не отпускает им долгих лет.

Табель о рангах

Полочек с именами, разложенными по чинам и по рангу, для писателя в литературе не существует. Хотел сделать такую Шкловский в «Гамбургском счёте», не получилось. Есть она у литературоведов, но они, к счастью, не ведают умами читателей.

Вспоминаю по этому поводу такую историю. Вернее, цитирую — авторство Татьяны Набатниковой. Итак, ярмарка во Франкфурте, год — не помню, дело было давно.

«Шли к автобусу толпой. Впереди меня шёл с кем-то Павел Крусанов, чуть сзади — Лев Рубинштейн и Дмитрий Александрович Пригов. Они спросили у меня, кто это, указав на Крусанова (знакомое лицо).

— О! Это гениальный писатель из Питера Павел Крусанов.

Они заговорили, что гениальные в литературе все. Но всё же есть некая иерархия. Гениалиссимус. Гениал-полковник. И младший гениальный состав».

Сказанное в шутку об иерархии на самом деле мало похоже на шутку.

В девяностые всё в жизни сместилось в сторону... непонятно какую... Появились в литературе фантомы, громкие писатели-однодневки, вроде... молчу-молчу, вдруг обидишь кого-нибудь ненароком. Толерантность, чтоб её так!

Хорошо быть человеком со стороны, жить в провинциальном городе Петербурге, вдалеке от центральной службы, выдающей посмертные номерки на место в очереди писателей после Пушкина.

Ковалю, хоть он и жил в Москве, такой номерок не выдали.

Писатель Ерофеев (Виктор, не Бенедикт) высказался по сему случаю откровенно: «В литературе, вообще у нас в культуре где-то на излете 70-х произошло размежевание: одни пошли... если хотите, навстречу словесной вакханалии, может быть, даже наркомании зла, а другие — мои же сверстники — решили прижаться скорее к добру, к идеалу.

Среди последних оказался и писатель К (Юрий Коваль. — A. E.). Он был талантливым человеком и, наверное, не зря нашёл себя в детской литературе, потому что в детской литературе быть добрым писателем необходимо по определению.

⟨...⟩

Во время перестройки детские книжки вышли из моды — во всяком случае, издательства перестали их печатать в прежних объёмах, и вообще вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроениям, и его стали печатать повсюду, и меня тоже. Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. Сатанисты изъездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить в лес по грибы. Казалось, божественной справедливости настал конец...»

По мне, так божественная справедливость не в том, чтобы успеть, пока ты живой, изъездить мир и увидеть многое. Пушкин, вон, изъездил мир умозрительно и привёз нам из мысленных своих путешествий и «волшебный край», «где небо блещет неизъяснимой синевой», и ночной Мадрид, вздрагивающий от поступи Командора, даже Лондон чумной привёз.

И не в том небесная справедливость, чтобы в телевизионном экране тебя наблюдали равнодушные телезрители. Высшая справедливость в том, что быть добрым необходимо по определению. А быть добрым дело негромкое, и не всегда его услышишь издалека, даже вблизи не всегда услышишь.

Табель о рангах (продолжение)

По большому счёту не важно, по какому ведомству проходит писатель — детской ли, этнографической, географической, приключенческой, фантастической или реалистической литературы. Коваль всю жизнь проходил в детских писателях, ну и что? Его место в литературе от этого стало ниже?

Вот Арсеньев. Он писал об Амуре, Приамурье, людях и зверях, населяющих эти места. Какой он писатель? Взрослый? Детский? Арсеньев — писатель общий, всечеловеческий.

То же — Коваль.

То же, кстати, и Николай Носов в лучших своих рассказах (которых не много — два, может быть, три; его повести — «Витя Малеев» и трилогия о Незнайке — я не принимаю в расчёт, они не художественные, они сюжетные).

Носова я привожу в пример как типичного, наравне с К. Чуковским, А. Барто и С. Михалковым, официально признанного классика детской литературы.

А Коваль... Что Коваль? Коваль признан неофициально, да ещё как признан! Я бы за такое признание последние штаны с себя снял и отдал их в фонд помощи голоштранному населению Африки.

Иван Сергеевич и Юрий Иосифович

Почему я выделил Соколова-Микитова отдельной главкой? Потому что Юрий Коваль написал о нём рассказ не рассказ, очерк не очерк, что-то межжанровое под названием «На барсучьих правах». Самая для меня весёлая в этом не очерке, не рассказе сценка... Вот, моими словами. Идёт Коваль по Москве, по проспекту Мира, видит вдруг, как классик русской литературы Иван Сергеевич Соколов-Микитов таинственно жмётся к стенам, крадётся вдоль по проспекту, в домашнем халате, полуслепой. Ковалю интересно стало, куда это направляется классик, пошёл он за Иваном Сергеевичем, и в результате выяснилось, что свернулся тот с проспекта Мира в некое питейное заведение. Взял там коньяку, выпил и обратно пошёл. А Коваль за ним дальше следует. Дошёл Соколов-Микитов до пешеходного перехода, щурится, идти не решается — со зрением совсем худо. Тут напи наблюдал подходит к нему как бы случайно, раскланивается, здоровается. Вместе они переходят улицу, и Соколов-Микитов говорит Ковалю: слушайте, знаю я неподалёку одно местечко, не хотите ли пропустить по одной за встречу? Коваль, конечно же, соглашается — как тут не согласиться, — и они идут в то самое заведение, от которого Коваль Соколова-Микитова до перехода и далее тайно сопровождал. История мне очень понрави-

лась. Ну разве после такой истории мог я не купить Собрание сочинений И. С. Соколова-Микитова, писателя, так уважаемого Юрием Ковалём? Я и купил. Целых четыре тома. Не задорого. И доволен страшно. И всем рекомендую. Не пожалеете.

Слава

Есть писатели славы громкой. Как колокол. Или как медный таз. И есть писатели тихой славы. Слава громкая — часто слава короткая: грехнет в потолок пробкой в банкетном зале бывшего велиокняжеского дворца, погуляет эхом по телекранам и уйдёт, как уходит в форточку табачный дым из курилки. Тихая — слава долгая. Поэтесса Татьяна Бек сказала о писателе Ковале: «Слово Юрия Кovalя будет всегда, пока есть кириллица, речь вообще и жизнь на Земле».

Я давно люблю книги Юрия Кovalя, лет уже без малого сорок. Изданые как детские, они написаны для всех читательских возрастов, всё в них лёгкое и волшебное — и предметы, и голоса зверей, и деревья, и цветы полевые, и слова, которыми говорят звери и люди, птицы и дождевая вода.

Обыденность в его книгах объединилась с волшебной сказкой.

Вот топор, забытый в лесу, он не просто отыщется под кустами, а блеснёт в тени, как глубинная рыба («Чистый Дор»). А сама глубинная рыба — ночная скользкая осенняя рыба налим — глянет на вас маленьkim, как божья коровка, глазом, а потом ворочается всю ночь, никак не может уснуть, шевелит узорными плавниками, похожими на полевые цветы («Ночные налимы»).

Наверное, это и называется зрением художника — увидеть глаза налима, понять его ночную бессонницу.

Наверное, это и называется читательским счастьем — знать, что есть на свете такие книги, к которым хочется всегда возвращаться.

Нескромное

Почему «нескромное»? Потому что из чувства лести — лести себе самому.

Когда вышла первым изданием «Ковалиная книга» (Ковалиная книга: вспоминая Юрия Кovalя. М.: Время, 2008), в «Независимой газете» Евгений Лесин, московский поэт, хороший, откликнулся на книгу рецензией. И были в ней такие слова:

«Очень характерны коротенькие воспоминания писателя Александра Етоева, автора одной из моих любимых книг „Душегубство и живодёрство в детской литературе“.

История вкратце такова. Конец 80-х. Про Коваля напечатали ругательную статью, Етоев написал письмо в журнал „Юность“, подписался „А. В. Етоев“. Его письмо не напечатали, но переслали Ковалю. И вот ответ Коваля:

„Александр Васильевич?
Анатолий Викторович?
Не знаю. Но совершенно очевидно:
Дорогой друг А. В. Етоев!..“

Думаю, не стоит объяснять читателям, что Етоев — Александр Васильевич.

Теперь о любви. Солженицын, например, лучше всех своих читателей, вместе взятых. Достоевский — хуже самого последнего из своих читателей, хуже даже самого последнего из своих персонажей. Поэтому оба они — великие писатели, но Достоевского ещё и перечитывать можно.

Такие же авторы, как Довлатов, Венедикт Ерофеев или Коваль, лучше не читателей и не персонажей, а себя как писателя. Больше себя как писателя. Их не любят, в них влюблены. Их ревнуют. И даже те, кто с ними знаком только по книжкам, ведут себя так, будто вчера всю ночь пробухали...»

Вышесказанное оставляю без комментариев.

Нескромное-2

Раз уж я упомянул «Ковалинью книгу» (из чувства самолюбования, с чего бы ещё), в которую замечательная Ира Скуридина (бывшая Волкова) включила мои скромные мемуары, то грех не вспомнить всю мою переписку с Юрием Ковалём. Часть, опубликованная в «Ковалинной книге», — вот она:

«Много лет назад газета „Комсомольская правда“ напечатала разгромную статью П. Веденяпина, которая называлась „Накуролесили“. Направлена была эта статья против выпущенного тогда в продажу диафильма по повести Юрия Коваля „Приключения Васи Куролесова“. Если учесть, что сама повесть к тому времени переиздана была уже не однажды, то напрашивался естественный вывод: диафильм был все-голишь поводом, чтобы очередной раз ударить по неугодному кому-то писателю. Я не знаю, кому Коваль тогда досадил, да в сущности и не важно. Статья написана казённым, доносительским языком, и лишь цитаты из Коваля, которые автор статьи приводил как примеры безграмотности и литературной пошлости, расцвечивали её серый, шинельный войлок яркими насмешливыми заплатами.

Я был тогда человек горячий и, увидев, как какая-то комсомольская шавка обляла моего любимого автора, написал длинное, на шесть (!) машинописных страниц, письмо в защиту обляянного писателя. Написал, запечатал письмо в конверт и послал его на адрес журнала „Юность“. Прошёл месяц, второй, я остыл и стал уже забывать о своём послании, как вдруг, ровно через три месяца, в феврале 1988 года, мне приходит ответ на фирменном бланке „Юности“. Привожу это письмо целиком:

„Уважаемый тов. Етоев!

Благодарим Вас за письмо. На заметку, помещённую в «Комсомольской правде», вряд ли стоит обращать такое внимание — у Ю. Коваля имя серьёзного писателя, он — лауреат Андерсеновской премии, «Юность», кстати, писала о его художественных работах в № 11. Мы перешлём Ю. Ковалю Ваше письмо. Уверены, ему будет очень приятно прочитать такие искренние слова читательского признания“.

И „Юность“ не обманула. В самом начале апреля мне пришло письмо из Москвы от Юрия Коваля. Я не буду цитировать письмо полностью, приведу из него лишь выдержки (тем более часть письма процитирована в „Нескромном-1“):

„...Дополнительный курьёз заключается в том, что «Комсомолка» в 1972 году хвалила повесть «Приключения Васи Куролесова». Автором рецензии на мою книгу был Фазиль Искандер. Начисто забыв свою хвалу, воздали и хулу. Вообще с этой газетой у меня совершенно юмористические отношения. Начались они с заметки «Чувство цвета и чувство правды» в 1960 году, когда меня громили как художника. Потом похвалили книгу «Чистый Дор» (Яков Аким), потом был и Фазиль, но вот дожили и до Веденяпина. Должен вам рассказать, что несколько писателей (Я. Аким, В. Железников, Т. Гайдар) написали короткое письмо в мою защиту, но оно как-то не напечаталось. В «Советской культуре» директор студии «Диафильм» сумел ответить с достоинством, но на этом дело и кончилось. Сейчас оно считается «замятым».

Скажу вам честно, что я постарался внимания не обратить. Но и на слаждения не испытал. Опасения, что литературные чиновники примут к сведению, были, но вроде бы пока не оправдываются. Ходят слухи, что «Комсомолка» не прочь воздать мне хвалу, хрен знает, пока всё это неясно...“

Теперь маленький бонус (так это теперь вроде бы называется) для читателей моего предисловия (ежели такие найдутся). На самом деле было продолжение переписки. Вот мое письмо Юрию Ковалю, отправленное.

«Здравствуйте, Юрий Иосифович!

Пишет Вам тот самый Александр Васильевич, которого Вы с первого раза угадали по инициалам. Так что, угаданное со второго раза (Анатолий Викторович) не верно. Но, Юрий Иосифович, скажу Вам честно: Александром Васильевичем за всю мою сознательно-несознательную жизнь называли меня ну... раз десять от силы. И всякий раз это величание было связано с какой-нибудь неприятностью. Мои знакомые и друзья называют меня попросту Сашей.

Что сказать о себе. Живу я в Ленинграде, сейчас на Васильевском острове, хотя адрес на конверте другой, это адрес моих родителей. В последние годы редко куда из Ленинграда выбираюсь. Работаю в Эрмитаже рабочим. Всё просто. Что ещё? Пробую писать, начал не очень давно, но никому пока об этом не говорю — боюсь (вот вам проболтался).

Юрий Иосифович, бог с ним, с тем письмом в „Юность“, — напечатают, не напечатают, лично мне всё равно, в конце концов я сказал в нём то, о чём не мог не сказать. Я вообще человек взрывоопасный — прочитаю где-нибудь что-нибудь этакое или увижу — и взорвусь, как атомная ракета. Правда, мой „негодованьем раскалённый слог“ чаще всего ложится в стол, потому что пройдёт день-другой, и я остываю на нашем балтийском ветерке.

Юрий Иосифович, спасибо Вам большое (правда, большое спасибо) за Б. В. Шергина. Только так можно было о нём написать, как Вы написали. Только такими словами. Вообще, удивительно — открыть „Новый мир“ и увидеть два имени рядом — Ваше и Шергина. И вдруг узнать, что Вы Бориса Викторовича хорошо знали в последние годы жизни его и что он был Вашим учителем. Всем бы таких учителей, как Шергин.

Я написал „учитель“ и подумал, что здесь даже не в учительстве дело — дело здесь в духовном общении, даже просто в ощущении, что ты с таким человеком дружен, связан пусть хотя только встречами и разговорами. Учитель может просто молчать, а ты всё равно набираешь опыт — даже от учительского молчания. Его и рядом может не быть, а всё равно — ты чувствуешь, что он рядом. Вот что я понимаю под словом „учитель“.

Шергин писал так ясно и чисто и вместе с тем так фантастически образно, что сразу вошёл в круг моего чтения и с той поры, как я открыл его для себя, уже из него не выходит.

В чтении я эклектик, мне просто нравится хорошая литература — наша, переводная, старая, современная, мне без разницы. Я люблю до сих пор и буду любить и Жюля Верна, и Фенимора Купера, и Стивенсона, и „Трёх мушкетёров“, и Диккенса, и русскую классику. Много чего я люблю, много чего мне нравится. Мне не нравится — когда скучно. Современных детских авторов я, к сожалению, почти не знаю. Вас

знаю, но Вы не такой уж и детский — Вы для всех возрастов. Даже если пишете о детях. Ещё мне нравится из того малого, что я читал, — это К. Сергиенко и В. Крапивин.

Я понимаю, что писать хорошо — дар редкий. Но и понимать, что написано хорошо, — тоже дар редкий. Читателей, хороших читателей, так же мало, как писателей, хороших писателей. Понимать и ощущать написанное тоже дар. Как Чехов говорил? Так, примерно: всякий считает себя знатоком в литературе и медицине. Вот и понимают нынешние читатели столь же хорошо в литературе, как в медицине. То есть ничего и никак. „Всё в порядке, носки и пятки“ — это уже не я, это уже Вадим Шефнер, наш, ленинградский, гений.

Знаете, Юрий Иосифович, я понимаю, что комплименты автору можно воспринимать как лесть, тем более в письме в „Юность“ я наговорил уже на эту тему достаточно, но, честное слово, то, что я сказал только что о Борисе Шергине, могу повторить и о Вас. Да, ещё к словам о ясности и чистоте Вашей прозы хочется добавить весёлое слово „весело“. Вот — ясно, чисто и весело. И хочется читать вслух.

Из всего, что Вы написали, читал, кажется, всё (могу ошибиться), кроме „Полынных сказок“. О них знаю из „Книжного обозрения“ и очень обиделся на „Детскую литературу“, что эту книжку они выпустили в „библиотечной“ серии, т. е. не для меня, библиотеки не посещающего. Последнее из Вашего, что удалось купить, это „Бабочки“, Ваше с Татьяной Мавриной. Лучшие в книге рассказы (те, которые понравились больше других) это „Полёт“, „Лошадь задумалась“, „Тузик“, „Адмирал“, „Папа и бабочки“, „Висячий мостик“, „Про них“, „Грач“ — да всё, всё нравится, чего там считать поштучно. Откройте, пожалуйста, секрет: почему у Вас не получается писать плохо? У других, многих, получается, а у Вас нет. Вот, опять сорвался на комплименты. Ну так ведь оно само получается как-то!

Юрий Иосифович, и Вы тоже, если случится быть в Ленинграде, можете позвонить мне по телефону ***, или на работу в Эрмитаж — *** до 15-ти часов во все дни, в среду до 17-ти часов, в чтв — до 20 часов (кроме вторника и воскресенья — выходной). В Музей всегда могу провести бесплатно и без очереди (и Вас и Ваших знакомых).

Дай Вам Бог здоровья, да побольше бы издавались Ваши книги, такие книги, как у Вас, — редкость.

С уважением,

Ваш читатель А. Етоев (далее адрес — мой)».

Сегодня я бы такого не написал.

И мне такое бы написали, я точно бы не ответил.

Как Коваль не ответил мне.

Мой выбор

Этим летом (2017) совершенно случайно застал по радио краешек передачи. Её тема: какая книга (книги) перевернула (перевернули) чью-либо жизнь. В основном говорили какую-то неинтересную муть, ведущие над слушателями откровенно подсмеивались (хотя сами, судя по разговорам, книги или вообще не читали, или читали плохо, или просто по-журналистски подстраивались под мнение слушателей). Поразила женщина, которая в детстве пережила смерть брата, потом нашла где-то на антресолях, среди баночной и тряпичной чепухи, книги Гюго, Золя, кого-то ещё из классиков и увлеклась чтением, чтобы отвлечься от смертных мыслей. И вот она говорит, что это была такая депрессия, эти книги так дурно на неё повлияли, что не дай бог кому-нибудь эти книги прочесть. И что она пришла к Богу, воцерковилась и теперь наконец узнала, что в мире есть одна книга — Библия, а все остальные — грех.

Это сильное откровение.

Но, подумал я, в Библии столько всего жестокого, что никакие Золя и Гюго с Библией и в сравнение не идут, кровь там льётся потоками, и, видимо, эта женщина прочла только Евангелие, и отсюда столь суровое у неё мнение.

И ёщё подумал: а я? Какая такая книга осветила моё сознание и перевернула мою жизнь навсегда? Вроде не было одной такой книги. Яркие пятна — да. Но это практически то, что мне читали взрослые или сам я прочитал в детстве, — от русских народных сказок, «Приключений Чиполлино» (детский сад в Климовом переулке, читала воспитательница, Раиса Семёновна, добная еврейская женщина), сказочной фантазии Сергея Сахарнова «Гак и Буртик в стране бездельников», Ефима Чеповецкого («Непоседа, Мякиш и Нетак»), Евгения Пермяка («Сказка о Терра-Ферра»), «Незнайки» Николая Носова, «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова до Жюля Верна и «Трёх мушкетёров» (первый—третий класс школы на углу Садовой и Лермонтовского, город был тогда Ленинград). Ещё — фантастика, литература мечты. Я читал её до 7-го класса. Что потом? Когда человеку уже шестнадцать, мысли его не о литературе. И не книга действует на выбор его пути.

Короче, не было у меня ни книг, ни книги, которые вывернули бы меня наизнанку, дали бы мне Дантову виту нову, сделали другим человеком. Были книги, много книг, книги разные, но чтобы какая-нибудь одна...

И вдруг я вспомнил: есть такая книга! А как же! Есть! Есть!

«Чистый Дор» Юрия Ковала.

В конце 1980-х годов (Ковала я ещё не знал) я познакомился с одной очень скромной девушкой, она тогда кончала филфак, была ученицей профессора Никиты Александровича Мещерского (его «„История Иудейской войны“ Иосифа Флавия в древнерусском переводе» была в моей домашней библиотеке). Однажды я оказался у неё дома, это было в новостройках, Ульянке кажется, мой визит связан был с книгами, ничего личного, и она в разговоре спросила меня о Юрии Ковале. Знаю ли я такого писателя? Я не знал. Она тогда удивилась очень и дала мне прочитать «Чистый Дор». Думаю, девушка хотела, чтобы я влюбился в неё, но она сделала неправильный ход. Ей я предпочёл Ковала, и думаю, что выбор был верный.

Действительно, ну как не влюбиться в старушку Пантелеевну с её потерянным и найденным в кустах топором; в дядю Зуя, обитателя старой баньки на излучине реки Ялмы; в дяди-Зуеву Ниорку; в пеньки на поле за деревней, которые дёргали-дёргали, и получился дор; в стожок и в трусоватого медведя в этом зимнем стожке; в лесовика с бородою синей, а по ней пятнышки, того самого, что в магазин ходят сахар покупать; даже в топор, блеснувший глубинной рыбой, про который упомянуто где-то выше, — как в него не влюбиться тоже?

А вообще-то, это лукавство — отсчитывать себя от одной-двух-трёх книг, которые тебе якобы изменили жизнь. Если кто-то считает, что именно такая-то книга сделала его человеком, то он плоское фанерное существо, не замечающее в своей плоскости и фанерности всех красок большого мира — от ярких до почти неживых.

Человек, и особенно человек-писатель, складывается из многих сущностей — не только из прочитанных книг. Главное — это опыт, опыт жизни, и это важно. Никакие на свете книги, прочитанные, непрочитанные, любые, не заменят погружения в жизнь. Можно опуститься на дно, можно опуститься и ниже (опыт в этом у человека есть), но то, что после этого выносится на поверхность, обрабатывается, осмысливается, ложится на бумагу, приходит к читателю, — то и есть литература живая, а не мёртвая, не высосанная из пальца.

Клуб Юрий Иосичей

Каких только необычных клубов не бывает на белом свете! Клуб ветеранов Метростроя. Клуб поклонников Джона Леннона. Клуб любителей 13-го портвейна.

Но мало кто из современников знает, что существовал в недалёком прошлом клуб Юрий Иосичей. Основали его три человека, три

«Иосича»: Юрий Иосифович Коваль, Юрий Иосифович Домбровский и Юрий Иосифович Визбор. И тот, и другой, и третий ныне фактически уже классики, и говорить об их значении для русской культуры — всё равно что объяснять человеку в возрасте, кто такой, допустим, Юрий Гагарин. Хотя, возможно, для юного поколения имеет смысл о них коротенько напомнить.

О первом представителе клуба, Юрии Иосиче Ковале, вы уже кое-что узнали, добавлю только одно: это о нём сказал Ролан Быков, что таких писателей, как Юрий Коваль, надо срочно заносить в Красную книгу, пока не перевелись, не вымерли.

Юрий Иосич Визбор — журналист, актёр, классик авторской песни и вообще человек-легенда.

И Юрий Иосич Домбровский — писатель, поэт, лагерник, автор «Хранителя древностей», «Факультета ненужных вещей», стихов и гениальных рассказов.

В клуб входил ещё один Юрий Иосич, четвёртый, который скромно оставался в тени; это был водитель такси, подвозивший однажды Юрия Ковала домой и тогда-то, в машине, и обращённый в святое братство Юрий Иосичей. О нём история в дальнейшем умалчивает.

Наверное, это был очень весёлый клуб, судя по тем талантам, которыми не обделил Господь Бог троицу его основателей. Жаль, что никто не вёл хронику клубной жизни.

Но вот ушли потихонечку один за другим — сначала Домбровский, потом Визбор, за ними — Коваль. Не стало их — не стало и клуба. Так всегда — любителей 13-го портвейна хоть пруд пруди, а талантливых Юрий Иосичей — раз, два, три и обчёлся.

P. S. Сергей Андреев, большой знаток и кропотливый исследователь творчества Юрия Ковала, когда я опубликовал впервые эту заметку, меня поправил: «Александр Етоев немного ошибся. Юрий Иосичей в клубе было 5! Был ещё поэт Юрий Иосич Коринец. А таксиста приняли последним. И привёл его не Коваль, а Визбор».

Моя ему благодарность за это.

Голоса травы

Замечательно знать мир, в котором тебе посчастливилось жить. Имена цветов, деревьев, птиц, созвездий, ветров, ведь им самим до этих имён, придуманных человеком, дела столько же, сколько тем же звёздам до нас, людей, — звёздам, на которые человек возлагает столько надежд.

Я всегда завидовал таким людям, как Пришвин, Соколов-Микитов, Бианки, Шергин, Коваль, Арсеньев, знавших о мире больше нас, обитателей городских квартир.

Любовь к миру во всех его проявлениях рождает ответную любовь мира. Вот Коваль, например. Его «любили решительно все — писатели и читатели, дети и взрослые, мужчины и женщины, люди простые и люди в шляпах. Любили собаки, кошки, птицы, рыбы, бабочки, деревья, травы, звёзды и облака...» (Блинова Э. Праздник общения с Юрий Ковалём // Ковалина книга: Сборник. М.: Время, 2008).

Перечитывая Олешу (одного из любимых писателей Ковала), в романе «Зависть» я обнаружил фразу: «Меня, как святого, окружал кустарник. Я срывал кисловатые нежные косточки растения, обсасывал их и выплёвывал...» Чувствуете? «Растения»!

Пришвин, Соколов-Микитов, Бианки, Шергин, Арсеньев, Коваль дали бы растению имя.

Я нисколько Олешу не укоряю. У него уход от имени к обезличенному слову «растения» намерен, он оправдан художественно. Кавалеров — человек не земли, не неба, но — между, ни там, ни здесь.

Мы тоже, в общем-то, люди между — ни там, ни здесь, не знающие и не желающие понять голоса травы, которая возле нас, которая у нас под ногами.

Кстати, одной из настольных книг Юрия Ковала был двухтомник «Травянистые растения СССР». Купил он сразу три экземпляра, впрок.

Ещё история про растения. Писатель Виталий Коржиков, автор «Весёлого мореплавания Солнышкина», посадил у себя на участке дуб и захотел, чтобы этот дуб был такой же красивый, как на картинках художника Николая Устинова, иллюстратора Юрия Ковала.

«А ты возьми Колин рисунок, — сказал Коваль, — и покажи дубу».

Писатель Коржиков так и сделал.

И что вы думаете? Дуб послушался, стал красивым.

Коваль, Суер-Выер и мэтр Рабле

«Суер-Выер» — последняя книга Юрия Ковала, последняя и посмертная.

Это роман особый, роман-игра. Собственно, он и романом-то не является; роман — это что-то матёрое, что-то очень сложное, много-мудрое, величественное, как Лев Толстой. Пергамент — так определяет жанр своего сочинения автор.

Что такое пергамент? Как известно из археологии, пергамент есть гладко выделанная кожа животных, употреблявшаяся в древности для

письма. (А в старых словарях есть добавка: «Ныне же идёт преимущественно на барабаны».)

Итак — «в древности». То есть мы с вами как бы читатели будущего и держим в своих руках некую музейную редкость, чудом избежавшую труса, голода (раз из кожи), нашествия со- и иноплеменников и так далее. Что-то утрачено, что-то не поддаётся прочтению, где-то вкрадась ошибка — может быть, переписчика, может быть, самого писца, отвлёкшегося по причине принятия ежевечерней порции корвалола.

А к древности отношение бережное. Можно комментировать, делать примечания, давать сноски, но нельзя ничего менять — теряется аромат времени, пища для желудка ума, материал по психологии творчества. Если «вдруг» написано через «ю» («вдрюг»), «со лба» — «собла» и древний автор, раскачиваясь на стуле, осознаёт «гульбину» своего падения, то этого уже не исправишь.

Любая мелочь, на которую в обыкновенной книге (если такие вообще бывают!) порой не обращаешь внимания, здесь, в пергаменте, играет роль важную, как в оркестре, где умри какая-нибудь маленькая скрипка, флейточка или английский рожок — и музыка перекосится и рухнет, превратившись в трамвайный шум.

Теперь о самой игре, о её незамысловатых правилах.

Правила очень простые.

Вот корабль, вот море и острова. Надо плыть по этому морю и открывать эти самые острова. Заносить открытые острова в кадастр и плыть дальше. А в свободное от открывания островов время заниматься обычными судовыми делами: пришивать пуговицы, развязывать морские узлы, косить траву вокруг бизань-мачты, варить моллюсков.

Да, чуть не забыли сказать про самое главное: кто в игре победитель и какая ему с этого выгода.

С победителем просто. Кто первый доберётся до Острова Истины, тот и выиграл. И в награду ему, естественно, достается Истина.

Правда, странное дело — выиграть-то он вроде бы выиграл, но идёт себе этот выигравший по Острову Истины, кругом её, естественно, до хрена, идёт он себе, значит, идёт, разглядывает лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, хобблоки и профиль Данте — а за ним (!) тихонечко движется океан. И сокращается островок, съедается, убивает его идущий своими собственными шагами; обернётся, дойдя до края, — а сзади уже вода. И впереди и сзади.

Вот такие интересные игры встречаются иногда на пергаментах.

Говоря по правде, игра эта очень древняя. В неё играли ещё в те времена, когда мир держался на трёх китах, а Земля была плоская и загадочная, как рыба вобла.

О путешествиях и невиданных островах писали древние греки и Лукиан, Плиний и Марко Поло. Они описаны у древних китайцев в «Каталоге гор и морей» и в путешествиях Синдбада из «Тысячи и одной ночи», в кельтском эпосе и русских народных сказках.

Острова, на которых живут циклопы и тененоги, псоглавцы и царь Салтан; а ещё — иппопеды, то есть люди с копытами вместо ног; а ещё — бородатые женщины и люди без рта, пьющие через специальную трубочку; а ещё — Робинзон Крузо, капитан Немо и Максим Горький. Все они описаны, зарисованы и выставлены на народное обозрение — в сушёном или заспиртованном виде.

Идёшь, смотришь, щупаешь, пьёшь, закусываешь, берёшь ещё.

И вроде бы как даже приелось.

Но вдруг из-за какой-нибудь сухой груши выходят два человека: матрос Юрий Коваль и мэтр Франсуа Рабле. Смеются и тебе говорят: ну что, говорят, плывём?

Ты даже не спрашиваешь куда, потому что и так понятно: в руке у мэтра Рабле початая Божественная Бутылка, а матрос Юрий Коваль уже щёлкает по ней ногтем, и Бутылка отвечает звонким человеческим голосом: «ТРИНК».

P. S. Ковалю не повезло с «Суером-Выером». Не потому не повезло, что писатель умер, так и не увидев полной версии изданного романа, не в смерти дело. Смерть для писателя дело наживное, главное — чтобы книжки его читали. Не повезло потому, что интеллектуальная среда, в которой в основном складывается мнение о той или иной новой книге, к 1995 году (первая, журнальная публикация «Суера») была пресыщена и обилием новых имён, и обилием старых авторов с книгами, которые они держали в столе до поры до времени, и вот наконец дождались, выдали их, обтерев с них плесень, на суд читателей, и обилием лавины псевдолитературы, выплеснувшейся на волне перестройки и случившейся в стране демократии.

По идеи, чтобы книгу прочли и оценили правильно, нужен читательский книжный голод. Хорошо бы изъять всю напечатанную в мире литературу. Отключить интернет. Вырубить электричество. Вернуться в догутенбергово состояние. Залезть в пещеры. Правда, голод физический быстро пересилит голод культурный, будет не до чтения — выжить бы.

Река нашего сердца

У каждого человека, если он не житель пустыни, есть в жизни своя река. Нева, Днепр, Енисей, Темза, Миссисипи, Фонтанка — не важно, как она называется и на какое долгое расстояние нас с ней разлуча-

ет жизнь. Она течёт в нашей памяти, мы помним цвет её, запах, линии берегов, деревья по берегам, листья, плывущие по воде осенью. Себя помним на её берегах, отражение наших счастливых лиц, когда дрогнет на воде поплавок или проплыт мимо нас на весенней льдине ленивая городская птица.

Ковалю была подарена Яузा.

Ограждена от нас гранитом,
Как воробей, невелика,
Под небом, осенью залитым,
Течёт забытая река.

В ней отражаются антенны,
Пустые окна, чердаки,
В ней стынут хлопья мыльной пены,
Преображаясь в островки...

Она течёт неторопливо
Всё от креста и до креста,
И даже кажется красивой
С Преображенского моста...

Пишу осенью, в октябре. В глазах у меня Фонтанка, река моего сердца. В голове моей звучит песня Юрия Коваля про Яузу.

На нашей набережной осень,
За тополями старый дом,
Дом двадцать семь, квартира восемь,
В котором мы ещё живём.

«В котором мы ещё живём»...

Грустно.

Взятие Гаваны

А грустно кончать не хочется.

Коваль человек весёлый.

Расскажу-ка я на закуску историю о Сергее Михалкове, как он Гавану брал. Услышал я её в телевизоре от художника Виктора Чижикова, друга Юрия Коваля, письменный вариант рассказа найти не смог, хотя и перерыл весь интернет.

Дело было в ЦДЛ, на очередном юбилее живого классика. Зал был полон, кроме писателей, в нём представители братских литератур, делегаты от стран соцлагеря, и каждый обязан выйти к юбиляру с поздравительной речью.

Вот выходит на сцену представитель Болгарии, поздравляет.

— Как же, помню Болгарию, — дружелюбно говорит юбиляр. — Когда мы в сорок четвёртом брали Софию... — и что-то говорит дальше.

Болгарина сменяет поляк. Цветы, поздравления.

— Да, Польша, а как же, помню, — говорит Михалков. — Когда мы в сорок пятом брали Варшаву...

Поздравляет представитель Чехословакии.

Михалков:

— Конечно, помню Чехословакию. Когда мы брали Прагу...

То же самое делегату от ГДР — про Берлин.

Настал момент для представителя Кубы.

Выходит кубинец, говорит речь.

И тут из зала раздаётся голос Юрия Ковала:

— А вот когда мы брали Гавану...

По-моему, история замечательная. На ней я и ставлю точку в разговоре о Юрии Ковале.

P. S. ко всему написанному

Наверное, как велят правила, нужно было бы дать читателю биографию Юрия Ковала, раз уж я, грешный, взялся написать предисловие к этой книге.

Каюсь, биографии я не дал.

Биография и много чего ещё будет в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия», в книге, которая непременно выйдет. Коваль настолько замечательный человек, что более чем достоин отдельной о себе книги.

Александр Етоев

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Александр Етоев. Писатель чрезвычайной необходимости.....</i>	5
<i>СУЕР-ВИЕР. Пергамент.....</i>	27
<i>САМАЯ ЛЁГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ. Повесть</i>	233
<i>ОТ КРАСНЫХ ВОРОТ. Повесть.....</i>	379
<i>ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ КУРОЛЕСОВА. Повесть</i>	405
<i>ПРОМАХ ГРАЖДАНИНА ЛОШАКОВА. Повесть</i>	461
<i>ПЯТЬ ПОХИЩЕННЫХ МОНАХОВ. Повесть</i>	517
<i>НЕДОПЁСОК. Повесть</i>	611
<i>ШАМАЙКА. Повесть</i>	703
РАССКАЗЫ	
Алый	
Алый	751
Елец	763
Козырёк	766
Особое задание	770
Белая лошадь	779
Чистый Дор	
По лесной дороге	782
Чистый Дор	783
Стожок	785
Весенний вечер	786
Фиолетовая птица	787
Под соснами	788
Около войны	790

СОДЕРЖАНИЕ

Берёзовый пирожок	793
Лесовик	794
Железяка	797
Вишня	798
Колобок	799
Картофельный смысл	801
Кепка с карасями	802
Нюрка	806
Бунькины рога	808
Выстрел	810
Вода с закрытыми глазами	814
Клеёнка	816
По-чёрному	821
Подснежники	823
Последний лист	825
 Листобой	
Капитан Клюквин	827
Серая ночь	833
Лабаз	836
Лесник Булыга	841
Белозубка	845
Нулевой класс	850
У кривой сосны	853
Картофельная собака	860
Гроза над картофельным полем	869
Листобой	880
 Про них	
Стеклянный пруд	890
Орехьевна	891
Дед, баба и Алёша	891
В берёзах	892
Букет	893
Тучка и галки	893
Бабочка	894
Снегири и коты	894
«Лес, лес! Возьми мою глоть!»	895
Русачок-травник	895
Орион	896
Сирень и рябина	896

СОДЕРЖАНИЕ

Пылшики	897
Шатало	898
Муравьиный царь	899
Снегодождь	900
Снеги белы	901
Солнце и снег	902
Черноельник	902
Ворона	903
Заячий тропы	904
Прорубь	905
Шапка дяди Пантелей	906
Дождь в марте	907
Висячий мостик	907
Герасим Грачевник	908
Соловьи	909
Поздним вечером ранней весной	910
Медведица кая	911
Полёт	911
Озеро Киёво	912
Три сойки	913
Большой ночной павлининий глаз	913
Про них	914
Чайник	915
Сиротская зима	917
Четвёртый венец. <i>Рассказ из дневника</i>	931
Ножевик	937
«Когда-то я скотину пас...»	940
Красная сосна	945
Солнечное пятно	953